

**ДОСТОЕВСКИЙ И ПОВЕСТЬ ТОМАСА ДЕ КВИНСИ
«ИСПОВЕДЬ АНГЛИЧАНИНА, УПОТРЕБЛЯВШЕГО ОПИУМ»**

(К теме «мечтательства»)

Имя английского писателя, философа, эссеиста, политэконома и литературного критика Томаса Де Квинси (Thomas De Quincey; 1785—1859) нигде и никак не упоминается Достоевским, тем не менее из воспоминаний Д. В. Григоровича¹ известно, что писатель был восторженным читателем самого знаменитого произведения Де Квинси — повести «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» (*Confessions of an English Opium-Eater, being an Extract from the Life of a Scholar*; 1821; отд. изд. 1822; «Исповедь английского любителя опиума: История из жизни ученого»), публиковавшейся в Англии анонимно вплоть до 1856 года и имевшей с момента своего выхода поразительный успех не только на родине писателя и в Европе (главным образом во Франции, где вскоре была переведена), но и в России.

«*Confessions...*» — первое произведение 36-летнего Де Квинси, друга и достойного соперника Вордсворта, Колриджа, Саути. Его обширное творчество, составляющее 15 томов, снискало особую популярность у читателей. Нашло оно отклик и у писателей. Влияние Де Квинси, по мнению исследователей, испытали на себе Ч. Лэм, О. де Бальзак, А. де Мюссе, Ч. Диккенс, сестры Бронте, Ш. Бодлер, О. Уайльд, Дж. Джойс, А. Бретон, Х. Л. Борхес и др. Популярность автора, «любителя опиума», почти сразу же вышла за пределы Англии. Почитателем и переводчиком «Исповеди...» стал 17-летний А. де Мюссе, в 1828 году анонимно опубликовавший во Франции свой весьма отличный от подлинника перевод-пересказ с многочисленными купюрами и обширными вставками собственных сюжетных эпизодов.² Позже интерпретатором «Исповеди...» выступит

¹ *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания // Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Приложения из «Воспоминаний В. А. Панаева» (Серия лит. мемуаров). М., 1987. С. 47. См. также: *Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского: В 3 т.* СПб., 1999. Т. 1 / Сост. И. Д. Якубович. С. 47.

² [*Musset A. de*]. *L'Anglais mangeur d'opium / Trad. de l'anglais par A. D. M.* Paris, 1828. См.: *Алексеев М. П.* Ф. М. Достоевский и книга Де-Квинси «*Confessions of an English Opium-Eater*» // Сб. статей, посвященных проф. Б. М. Ляпунову / Учен. зап. Высшей школы г. Одессы. Одесса, 1922. Т. 2. С. 98—99; *Дьяконова Н. Я.* «Исповедь» Де Квинси в европейском контексте // *Россия. Запад. Вос-*

III. Бодлер: вторая половина «Искусственного рая» (Искушения и муки любителя опиума; 1860) является также вольным переложением повести, которую он в восхищении уподобляет фантастическому гобелену.

В основу публичной исповеди Де Квинси был положен автобиографический рассказ о пагубном влечении автора к опиуму, стимулирующему творческое воображение, о наслаждениях «искусственного рая», о последующих страданиях от зелья, разрушающего психическое здоровье, и о мучительной победе над пагубной страстью. Нравственную цель своей книги Де Квинси видел в ее поучительности и в собственном оправдании: к опиуму его влекли не только чувственные наслаждения, благодаря действию опиума обреталась творческая способность мечтательства, созерцания фантастических видений, придававших невыносимой будничной реальности сокровенный смысл; опиум позволял «постигнуть „зашифрованную“ (любимое словечко писателя) тайну бытия и отражающего его искусства».³

В 1922 году М. П. Алексеевым была написана небольшая статья, первая и, пожалуй, единственная на сегодняшний день в отечественном литературоведении на тему «Достоевский и Де Квинси», в которой был предложен целый ряд блестящих наблюдений. О влиянии Де Квинси на «Бедных людей» Алексеев пишет: «Общий тон „Исповеди“ (...) с ее особой склонностью к изображениям униженных жизнью, бедняков и обойденных счастьем, с ее картинами жизни лондонской улицы, быта лондонских темных дельцов и заброшенных детей, быть может, отзывается уже в первом печатном произведении Достоевского, в романе „Бедные люди“. (...) Общим для этих произведений является та доля сочувствия, которое Достоевский и Де Квинси уделяют своим „бедным людям“, поэтизация страданий, горя и тех несложных житейских отношений, какие существуют между бедняками. Это особенно важно подчеркнуть, так как традиционное мнение возводит „Бедных людей“ исключительно к Гоголю».⁴

* * *

ток. Встречные течения: К 100-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева / Сб. статей. СПб., 1996. С. 267.

³ См.: Дьяконова Н. Я. Томас Де Квинси — повествователь, эссеист, критик (1785—1859) // Де Квинси Т. Исповедь англичанина, любителя опиума / Изд. подгот. Н. Я. Дьяконова, С. Л. Сухарев, Г. В. Яковлева. М., 2000 (Сер. «Литературные памятники»). С. 346.

⁴ Алексеев М. П. Достоевский и книга Де-Квинси «Confessions of an English Opium-Eater». С. 102. Следует отметить, что М. П. Алексеев использовал английский подлинник «Confessions...», а не русский перевод 1834 года, известный Достоевскому.

Так вышло, что первый русский перевод «Исповеди...», тот самый, который читал Достоевский, был опубликован в конце августа—начале сентября 1834 года под именем Ч. Р. Метьюрина (1782—1824). На титульном листе значилось: «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум. Соч. Матюрина, автора Мельмота. СПб., в типографии Н. Греча, 1834 год» (цензурное разрешение — 21 августа). Не исключено, однако, что Достоевский помимо этой книги мог знать также и предшествующее этому изданию краткое изложение содержания «Confessions...» на русском языке, опубликованное Н. А. Полевым как анонимное произведение дважды: в 1827, а затем в 1829 году, и возбудившее таким образом читательский интерес к английской повести в России. В предисловии к изложению отмечено, что эта «небольшая книжка», изданная в Лондоне, «наделала много шума, и была в один год *три раза* напечатана: так раскупали ее. Медики и ученые люди читали и спорили, светские люди читали ее как роман с величайшим любопытством», ибо эта исповедь «представляла читателям такую игру дикой фантазии, какую едва ли найдем в самых восточных романах, самых мистических книгах».⁵ После издания Греча повесть не переводилась в России вплоть до конца XX в. Следует заметить, что, хотя в существующих описаниях библиотеки Достоевского ни одно из указанных изданий как имевшееся в его библиотеке не зафиксировано,⁶ бесспорным фактом биографии писателя, исходя из свидетельства Григоровича, следует считать то, что он читал «Исповедь...» Де Квинси в русском переводе 1834 года. Именно это издание было в библиотеке Пушкина,⁷ вероятно, Гоголя; в книжных собраниях И. С. Тургенева и А. И. Герцена было английское издание 1856 года, в яснополянской библиотеке Л. Н. Толстого сохранилось издание 1886 года на английском языке.

Вслед за Л. П. Гроссманом в исследовательской литературе неоднократно высказывалась ничем не подкрепленная гипотеза, что на

⁵ Удивительное действие на воображение, производимое опиумом // Московский телеграф. 1827. Ч. 16. № 14. С. 25—37; то же в сб.: Повести и литературные отрывки, изданные Николаем Полевым: В 6 ч. М., 1829. Ч. 1. С. 279—298. (На тит. л. — 1830). Здесь, в предисловии, отмечено, что русское извлечение является переводом публикации из женеvского журнала «Bibliothèque Universelle» (с. 279—280).

⁶ См.: Гроссман Л. П. 1) Библиотека Достоевского. Одесса, 1919; 2) Семинарий по Достоевскому. Материалы, биография и комментарии. М.; Пг., 1922. С. 20—50; Десяткина Л. П., Фридендер Г. М. Библиотека Достоевского (Новые материалы) // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1980. Т. 4. С. 253—271; Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание / Под ред. Н. Ф. Будановой. СПб., 2005.

⁷ См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: (Библиографическое описание). СПб., 1910. С. 63 (в аннотации к описанию книги отмечено: «разрезано; заметок нет»).

русском переводе 1834 года именно Н. И. Греч как издатель «из спекулятивных целей» выставил автором «Исповеди...» Метьюрина, имя которого, достаточно знаменитое к этому времени, должно было поспособствовать быстрой распродаже тиража. Гроссман полагал, что «русские книгоиздатели применили здесь ходкий в то время прием — обозначение книги малоизвестного автора фамилией другого популярного писателя. <...> „для большего расхода оных на русском”».⁸ Это предположение едва ли правомерно, как и утверждение целого ряда исследователей, что авторство Метьюрину было приписано анонимным русским переводчиком повести.⁹ Это не совсем так. По наблюдению М. П. Алексеева, авторство было приписано Метьюрину во Франции: уже в повести О. де Бальзака «Тридцатилетняя женщина» (1831—1834) в беседе Жюли д'Эгльмон с ее подругой Луизой о «Confessions...» идет речь как о произведении Метьюрина.¹⁰

Русское издание «Исповеди...» было сразу же отмечено отечественной критикой. «Северная пчела» откликнулась восторженной рецензией, подписанной криптонимом «В. В. В.», за которым скрывается литератор и переводчик Владимир Михайлович Строев (1812—1862):¹¹ «Исповедь Англичанина при появлении своем в Лондоне наделала много шума. Она раскрывала такую повесть, невероятную и странную, она описывала видения такие фантастические и не всяко-

⁸ Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. М., 1925. С. 32—33. См. также: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. М., 1987. Т. 3. С. 505—506 (коммент. А. И. Батюто); *Sergl A. Gogol's Opium: Genesis and Meaning of the Piskarev-sujet in «Nevskij prospekt»* // Wiener Slawistischer Almanach. 1997. Bd 39. P. 176.

⁹ Кондратьев В. Показания поэтов // Де Квинси Т. Исповедь англичанина, употребляющего опиум (редакция 1822 года) / Пер. С. Панова, Н. Шептулина. М., 1994. С. 137; Дьяконова Н. Я. Томас Де Квинси — повествователь, эссеист, критик (1785—1859). С. 367; Антонов С. А. Примечания // Де Квинси Т. Исповедь англичанина, употреблявшего опиум. СПб., 2001. С. 168.

¹⁰ Алексеев М. П. Ч. Р. Метьюрин и его «Мельмот Скиталец» // Метьюрин Ч. Р. Мельмот Скиталец. Л., 1976. С. 671—672 (Сер. «Литературные памятники»). См. также: Бальзак О. де. Тридцатилетняя женщина // Собр. соч.: В 24 т. М., 1960. Т. 2. С. 154.

По мнению французской исследовательницы Ф. Морё, Бальзак, испытавший влияние Де Квинси в «Шагреновой коже» и отрывке «Опиум» (1830), относил «Confessions...» к важнейшим произведениям эпохи (см.: *Moreux F. Thomas De Quincey: La vie. L'homme. L'œuvre.* Paris, 1964. P. 572—580). См. также превосходную статью, которая заслуживает быть переведенной на русский язык: *Astre G. A. H. De Balzac et «L'Anglais mangeur d'opium»* // *Rev. de littérature comparée.* Paris, 1935. P. 755—772. Здесь высказано предположение: Бальзак мог знать, что автором французского пересказа повести был А. де Мюссе (р. 760). Влияние Де Квинси, говорится в статье, присутствует и в других произведениях Бальзака 1830-х годов («Миссимиλλα Дони», «Серафита», «Прощенный Мельмот»).

¹¹ В. В. В. [Строев В. М.] Новые книги // Северная пчела. 1834. № 258. С. 1029—1032. Имя автора рецензии удалось установить по: Масанов И. Ф. Сло-

му воображению доступные, что все с нетерпением желали знать имя Автора. *Исповедь* приписывали всем известным английским литераторам поочередно. В журналах появлялись статьи, столь же длинные, как и самая книжка. Одну из таких статей *Телеграф* передал своим читателям и возбудил в нас любопытство видеть *Исповедь* в русском переводе.¹²

Помимо «Северной пчелы» анонимной краткой рецензией отозвалась «Библиотека для чтения»: «Исповедь» Метьюрина «всегда казалась нам книгою жестокою и бесполезною, как она ни умна и ни любопытна: подобные сочинения более способны внушить дурную мысль уму непорочному, скорее могут возродить в сердце желание узнать на опыте вещь описываемую, чем утратить воображение, уже подчиненное пагубным привычкам».¹³

Поразительно, но В. М. Строев, один «из лучших переводчиков» «своего времени»,¹⁴ был уверен в том, что русский перевод был сделан с подлинника. Рецензент «Библиотеки для чтения» также был убежден, что перевод был выполнен с английского оригинала: «Исключая несколько выражений не русских, носящих на себе отпечаток слишком буквального переложения английской фразеологии {...} перевод вообще показался нам хорошим».¹⁵ Между тем помимо многочисленной правки в издание 1834 года оказались вставлены три обширных фрагмента (треть текста), отсутствующие в английском тексте. Эти вставки были ошибочно приписаны анонимному русскому переводчику, так называемому «Псевдо-Де Квинси».¹⁶

О том, какое впечатление произвело это уже подписанное сочинение на современников, можно судить по отзывам И. С. Тургенева

варь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1956. Т. 1. С. 187. См. также: Русский биографический словарь. СПб., 1909. [Т. 19]. С. 531.

¹² Северная пчела. 1834. № 258. С. 1029. Речь идет о статье «Удивительное действие на воображение, производимое опиумом» (Московский телеграф. 1827. Ч. 16. № 14. С. 25—37). Этот русский перевод был выполнен по изложению повести в женевском журнале, последовательно пересказавшему подлинный текст Де Квинси.

¹³ См.: Библиотека для чтения. 1834. Т. 7. С. 22 (Литературная летопись). В подтверждение этой мысли достаточно вспомнить рассказ А. Конан Дойла «Человек с рассеченной губой»: «Айза Уитни приучился курить опий {...} прочитав книгу Де Квинси, в которой описываются сны и ощущения курильщика опия {...} чтобы пережить то, что пережил этот писатель».

¹⁴ Русский биографический словарь. [Т. 19]. С. 531.

¹⁵ Библиотека для чтения. 1834. Т. 7. С. 22 (Литературная летопись).

¹⁶ См.: *Псевдо Де Квинси*. Фальсифицированные переводчиком фрагменты текста романа, включенные в первое русское издание «Исповеди...». Автор неизвестен // Де Квинси Т. Исповедь англичанина, употребляющего опиум. С. 142—156.

и А. И. Герцена, прочитавших «Confessions...» в подлиннике. 24 ноября (6 декабря) 1856 года Тургенев писал Герцену: «Но вот что прочти непременно: „The Confessions of an Opium-eater“. Прочти и скажи мне — такое же ли впечатление произведет эта книжечка на тебя, как на меня. Я ее прочел *два раза сряду* — *à la lettre*». ¹⁷ На следующий день он сообщал В. П. Боткину: «Прочел я в последнее время — „The Confessions of an English Opium-eater“ — удивительная штука! Я ничего подобного не встречал». 25 (13) декабря Герцен ответил: «Я тотчас приобрел „Opium-eater’a“. Да, это превосходная книга — De Quincey еще жив и теперь, должно быть, опиум пить здорово (тоже и коньяк). (...) Так искренно, так откровенно не умеет писать ни один француз — и смело. Словом, за это знакомство я тебе благодарен». ¹⁸ С тем же восторгом об «Исповеди...» Герцен писал и в письме к А. А. Серно-Соловьевичу от 26 (14) декабря 1863 года: «Мы долго думали с Огар(евым), что вам рекомендовать для перевода с английск(ого). Пока что найдем, посылаю „Opium-eater’a“ De Quin(c)ey. В нем страницы, писанные с той откровенностью и мужественной отвагой, к которой француз не способен — по тщеславию, а немец — по грязной Plumpheit (*нем.* неуклюжести. — *Ред.*)». ¹⁹ Новаторство Де Квинси заключалось, надо думать, и в том, что впервые демонстрировался ужас, вызванный не внешними иррациональными силами, как это представляла готическая проза, а скрытый в «лабиринтах собственного сознания» ужас опиумных галлюцинаций, «максимально внутренний и этой внутренностью противостоящий демонстративной привнесенности кошмаров» готического романа. ²⁰ Произошла смена прежних форм ужасного. Вероятно, именно это качество поэтики «Исповеди...» вызвало восторженные отзывы Тургенева и Герцена.

Не исключено, что после 1856 года, когда Де Квинси выставил свое имя на значительно расширенном и дополненном английском издании повести, Достоевский мог узнать, что ее автором был вовсе

¹⁷ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма: В 18 т. М., 1987. Т. 3. С. 151, 153. Конкретные заимствования из Де Квинси в «Призраках» (1864) были подмечены П. Ваддингтоном; добавлю к его перечню опиумную тему, которая, безусловно, присутствует в повести Тургенева — героя в его ночных полетах всякий раз «охватывает» «какая-то белая мгла с снотворным запахом мака (...) и это не было неприятно» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч.: В 12 т. М., 1981. Т. 7. С. 210). Согласно Ваддингтону, — и это наблюдение абсолютно справедливо — на образ Эллис и характер его вплетения в повествование «Призраков» повлиял образ Анны из «Confessions...» Де Квинси: полагаю, что в не малой степени на тургеневскую повесть имело влияние «Серафиты» Бальзака (см.: Waddington P. Turgenev and England. [London], 1980. P. 107—108.

¹⁸ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1962. Т. 26: Письма. С. 60, 356.

¹⁹ Там же. Т. 27, кн. 1. М., 1963. С. 393.

²⁰ См.: Шентулин Н. Ужас и наслаждение Томаса Де Квинси // Де Квинси Т. Исповедь англичанина, употребляющего опиум. С. 121—122.

не Метьюрин, но это предположение мало что дает для осмысления влияния на писателя именно текста 1834 года.

* * *

Если версия с авторством Метьюрина была признана ошибочной еще в XIX в., то более устойчивым заблуждением стало продержавшееся вплоть до последнего времени утверждение целого ряда отечественных исследователей, что первый русский перевод «Исповеди...» 1834 года, сильно отличающийся от оригинала, принадлежит перу анонимного русского переводчика, неизвестного автора, добавившего к английскому подлиннику треть текста и местами значительно его сократившего. Переводчик, по мнению Н. Я. Дьяконовой, «приписав авторство» Метьюрину, «по-видимому решил, что завоевал право на необузданную фантазию».²¹ Наконец, вопрос был окончательно решен, когда в одном из последних русских изданий Де Квинси фальсифицированные фрагменты, как принадлежащие неизвестному переводчику, были вычленены и опубликованы отдельно под именем Псевдо-Де Квинси.²²

На самом деле первый русский перевод «Исповеди...» был сделан с французского пересказа 1828 года, подписанного А. Д. М., будущим автором «Исповеди сына века» (*La Confession d'un enfant du siècle*; 1836), А. де Мюссе. Следует оговорить: впервые на это указал еще в 1929 году В. В. Виноградов в своей книге «Эволюция русского натурализма: Гоголь и Достоевский». Долгая история домыслов и обвинений русского переводчика, якобы приписавшего авторство Метьюрину и выказавшего «необузданную фантазию» при переводе, могла бы не начаться, если бы работа Виноградова была известна исследователям творчества Де Квинси.²³

Не так давно С. А. Антонов произвел тщательный текстологический анализ и сличил русский перевод 1834 года, переложение Мюс-

²¹ Дьяконова Н.Я. Томас Де Квинси — повествователь, эссеист, критик (1785—1859). С. 367. См. также: Дьяконова Н. Я. «Исповедь» Де Квинси в европейском контексте: «Текст (1834 года. — С. И.) сокращен, упрощен, нередко дурно понят и передан в произвольном порядке» (с. 268).

²² См.: Псевдо Де Квинси. Фальсифицированные переводчиком фрагменты... С. 142—156. В русле традиции я писала по поводу необходимости атрибутировать три превосходных фрагмента, включенные в русское издание Де Квинси 1834 года (см.: *Ипатова С. А.* Неизвестная рецензия Оскара Уайльда на «Преступление и наказание» // *Pro memoria: Памяти академика Георгия Михайловича Фридендера (1915—1995)*. СПб., 2003. С. 259).

²³ См.: Виноградов В. В. Эволюция русского натурализма: Гоголь и Достоевский. Л., 1929 (статья «О литературной циклизации: По поводу „Невского проспекта“ Гоголя и „Исповеди опиофага“ Де Квинси»). За год до выхода

се и подлинный текст Де Квинси, обнаружив расхождения не только между английским и французским текстами, но и между французским образцом и русским переводом. Исследователь пришел к важному выводу: «Русский переводчик {...} скорее всего, не был знаком с оригинальным текстом „Исповеди...”». ²⁴ В западном литературоведении эта работа также была проделана: в 1910, а затем в 1960 году во Франции пересказ Мюссе был скрупулезно изучен в сопоставлении с английским подлинником, ²⁵ а в 1992 году немецкий исследователь А. Ное детально проанализировал расхождения между текстами Де Квинси, Мюссе и Ш. Бодлера. ²⁶ Разыскания Антонова ценны тем, что впервые обнаруживают привнесения и изъятия русского переводчика в отношении к тексту Мюссе. Удивительно, но проблема, кто мог быть этим русским переводчиком, не занимала, насколько известно, ни одного из отечественных исследователей.

Вероятно, не только то обстоятельство, что Де Квинси тщательно скрывал свое авторство, сохраняя таинственность и возбуждая тем самым читательское любопытство, побудило Мюссе использовать подлинный текст в качестве отправного и создать собственный пересказ «Confessions...», придав повести несколько иное художественное звучание. Сокращению подверглись многочисленные философские рассуждения и медицинские экскурсы английского

книги укороченный вариант статьи был издан отдельно, но сведений о роли Мюссе в русской адаптации в ней нет, хотя Виноградов и знал о существовании переложения Мюссе; здесь же, ссылаясь на статью М. П. Алексеева «Ф. М. Достоевский и книга Де-Квинси», Виноградов пишет: «Еще в 1920 г. я читал доклад в Библиологическом обществе о влиянии Th. de Quincey на Гоголя и Достоевского» (*Виноградов В. В. О «литературной циклизации»: «Невский проспект» Гоголя и «Confessions of an English Opium-Eater» Де Квинси // Временник Отдела словесных искусств. Т. 4: Поэтика / Сб. статей. Л., 1928. С. 114, 115—116*). Упомянутый доклад Виноградова не сохранился; по предположению А. П. Чудакова, это мог быть доклад «Драма художника Пискарева. К истории одного сюжета творчества Гоголя», прочитанный осенью 1920 года. Подробнее об этом см. комментарии А. П. Чудакова к последнему изданию: *Виноградов В. В. О литературной циклизации: По поводу «Невского проспекта» Гоголя и «Исповеди опиофага» Де Квинси // Избранные труды: Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 486, 470*. По поводу полемики вокруг авторства вставных фрагментов в русском издании 1834 года см.: *Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 2002. С. 297—298*.

²⁴ Антонов С.А. Примечания // Де Квинси Т. Исповедь англичанина, употреблявшего опиум. С. 167.

²⁵ *Musset A. de. Œuvres complémentaires, réunies et annotées par Maurice Allem. Paris, 1910; Musset A. de. Œuvres complètes en prose / Texte établi et annoté par Maurice Allem et Paul Courant. Paris, 1960. P. 1020—1040*.

²⁶ См.: *Noe A. Stilometrie und Interpretation: Stilistische Merkmale der Sprache Alfred de Mussets mit besonderer Berücksichtigung der Prosa. Frankfurt a./M., 1992. S. 249—258*.

автора в его отчаянных попытках освободиться от опиумной зависимости; добавились новые беллетристические эпизоды главным образом в сюжетную линию отношений героя и юной проститутки Анны. Мюссе практически переписывает Де Квинси в той части, что посвящена истории влюбленных, и придает ей счастливый финал в отличие от подлинника, где герои безвозвратно теряют друг друга.

В русской адаптации, следом за версией Мюссе, повествуется, как однажды на великосветском балу герой «Исповеди...» встречает свою возлюбленную Анну, ставшую модной красавицей; она не исчезла бесследно, чтобы, подобно ангелу в Иерусалиме, являться ему лишь в опиумных видениях, как это изложено у Де Квинси, а, оказавшись в крайней нищете в своих скитаниях и поисках героя, стала содержанкой некоего лорда (маркиза) К. После бала «любитель опиума» тайно встречается с ней, признается в любви, выслушивает печальную историю ее падения, дерется на дуэли с заставшим их соблазнителем-лордом, ранит его, после чего влюбленные спешно спасаются бегством. Дальнейшая судьба героини весьма неопределенна, и это понятно, учитывая отсутствие подобного эпизода в подлиннике. Тем не менее фрагмент этот, привнесенный Мюссе в сюжет Де Квинси, органически вписался в структуру повествования, где действительность, прозаическая и обыденная, перемежается с чередой описаний болезненных опиумных галлюцинаций, бреда, упоительных грез и мрачных снов, полных фантасмагорическими, кошмарными видениями мечтателя, а зыбкая грань между ними и художественной реальностью не всегда очевидна. Достойная подлинника сцена встречи воспринималась в ряду других наркотических видений как одна из грез, вдохновленных опиумом. Любопытно, что В. М. Строев особенное внимание уделил этому фрагменту: «Весь эпизод любовных походов и конец его — дуэль — нарисованы мастерскою Матюринскою кистью».²⁷

Этот эпизод, как известно, вдохновил Гоголя, теми же конструктивными элементами описавшего схожую ситуацию в «Невском проспекте» (1835). Тяжелые думы Пискарева о поразившей его воображение проститутке реализовались во сне в форме того же бала, на котором он встречает падшую красавицу, превратившуюся в блестящую даму. «Канва рисунка у Гоголя и Де Квинси одна и та же», писал В. В. Виноградов, а «опиум как средство продолжить сон и мечты, им навеваемые, выполняет однородную сюжетную функцию в повести Гоголя и в романе Де Квинси: описание грез Пискарева, вызванных приемами опиума, растворяется в причудливой фантастике грез опиофага Де Квинси». Ученый, выявив целый ряд текстуальных соответствий и соотнесений, тем не менее добавил, что не

²⁷ Северная пчела. 1834. № 258. С. 1030.

хочет «к этому ряду сопоставлений прицепить безапелляционное решение: сюжетная композиция „Невского проспекта” находится в некоторой зависимости от „Confessions” Де Квинси. Однако это утверждение возможно».²⁸

«Исповедь...» Де Квинси—Мюссе в русском переводе не только вызвала восторг Достоевского, Гоголя, В. Ф. Одоевского, но и оставила заметный след в их творчестве. Влияние «Confessions...», безусловно, имело место в таких произведениях И. С. Тургенева, как «Призраки» (1864), «История лейтенанта Ергунова» (1868), «Песнь торжествующей любви» (1881). Точкой соприкосновения стала не только «опиумная» тема, но и тема «мечтательства»; соотношение возможно и в смысловом плане: реализация фантазий с зыбкостью границ между сном и явью, где опиум становится средством актуализации подсознательного.

* * *

Свидетельство Григоровича о сильном впечатлении, которое произвела на Достоевского книга Де Квинси, относится к периоду их совместного обучения в Инженерном училище, когда зимой 1838 года они сблизились на почве схожих литературных вкусов: «Первые литературные сочинения, читанные мной на русском языке, были сообщены мне Достоевским; это были: „Кот Мур” Гофмана и „Исповедь англичанина, принимавшего опиум” Матюрена — книга мрачного содержания и весьма ценимая тогда Достоевским».²⁹ В 1925 году Л. П. Гроссман, комментируя это свидетельство, писал, что Де Квинси, «автора уголовных рассказов и философских трактатов (...) сближают обычно с первоклассными мастерами фантастической и страшной новеллы — Гофманом, Эдгаром По, Жераром де Нервалем. Эти имена достаточно доказывают, чем мог привлечь Достоевского этот „удивительный фантаст”. (...) Неудивительно поэтому, что Достоевский так горячо рекомендовал для чтения „Исповедь анг-

²⁸ Подробнее об этом см.: *Виноградов В. В.* О «литературной циклизации»: «Невский проспект» Гоголя и «Confessions of an English Opium-Eater» Де Квинси. С. 119. См. также: *Виноградов В. В.* О литературной циклизации: По поводу «Невского проспекта» Гоголя и «Исповеди опиофага» Де Квинси. С. 49—50. По мнению немецкого исследователя, «характер Пискарева восходит не только к „Исповеди...” Де Квинси—Мюссе, но также и к личной и творческой трагедии К. Н. Батюшкова». Невозможно установить, пишет ученый, было ли употребление опиума единственной причиной душевной болезни Батюшкова или оно лишь способствовало ее развитию. См.: *Sergl A.* Gogol's Opium: Genesis and Meaning of the Piskarev-sujet in «Nevskij prospekt». Р. 177. Конечно, опиум лишь усугубил врожденный недуг Батюшкова.

²⁹ *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. С. 47.

личанина, принимавшего опиум”. В этой „книге мрачного содержания” определенно звучат ноты, родственные господствующим темам его будущего творчества. (...) Эта своеобразная „Исповедь” (...) отвечала художественным запросам молодого Достоевского. Впечатление от этой маленькой книги надолго сохранилось в его памяти. Признания опиомана оставили в его художественном развитии такой же след, как и ужасы Анны Радклиф. (...) По их страницам он мог узнать, что уже в ясную эпоху Вольтера и Державина старинное равновесие было нарушено первыми попытками новой литературы изображать таинственную тягу человеческого сознания к миру болезненного и чудесного». ³⁰ Ограничившись этими общими соображениями, Гроссман, однако, не конкретизировал то влияние, которое Де Квинси оказал на творчество Достоевского.

Упомянув о воздействии «Исповеди...» на «Бедных людей», М. П. Алексеев писал, что чтение Де Квинси оставило и более глубокий след в творчестве Достоевского, прежде всего в «Преступлении и наказании». О сходстве некоторых рассуждений из статьи Раскольникова с другим произведением Де Квинси — лекцией «Убийство как одно из изящных искусств» (On Murder considered as one of Fine Arts; 1827) ученый пишет: «Увлекаясь “Исповедью английского опиумоеда”, Достоевский, конечно, был вполне уверен, что она принадлежит перу Матюрена; едва ли также Достоевский знал позднейшее творчество Де Квинси; но во всяком случае любопытно подчеркнуть то замечательное сходство, которое существует между некоторыми рассуждениями трактата Де Квинси „Убийство как одно из изящных искусств” и статьей Раскольникова о преступлении, которую он излагает Порфирию Петровичу». ³¹ Следует согласиться с тем, что едва ли Достоевский знал эту лекцию, в которой убийство рассматривается не с «позиций морали», а «как эстетическое явление — то есть подлежащее суду хорошего вкуса»; «для создания истинно прекрасного убийства требуется нечто большее, нежели двое тупиц — убиваемый и сам убийца, а в придачу к ним нож, кошелек и темный переулочек. Композиция (...) группировка лиц, игра светотени, поэзия, чувство — вот что ныне полагается необходимыми условиями для успешного осуществления подобного замысла». ³² Убийство здесь отнюдь не оправдывается; за тонкой иронией повествователя явственно проступает осуждение преступления, и позиция Де Квинси в этом вопросе прямо противоположна выводам из статьи Раскольникова. Необходимо также заметить, что при жизни Досто-

³⁰ Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 33—35.

³¹ См.: Алексеев М. П. Ф. М. Достоевский и книга Де-Квинси «Confessions of an English Opium-Eater». С. 99; см. также комментарии к «Преступлению и наказанию», где эта мысль Алексеева повторена — 7, 380; коммент. Г. Ф. Коган.

³² См.: Де Квинси Т. Убийство как одно из изящных искусств / Пер. С. Л. Сухарева // Де Квинси Т. Исповедь англичанина, любителя опиума. С. 187, 188. См.

евского лекция «Убийство как одно из изящных искусств» не была переведена на русский язык.

В связи с «Преступлением и наказанием» М. П. Алексееву же принадлежит другое, к сожалению, не развернутое, но очень ценное для истолкования романа Достоевского наблюдение. Не вдаваясь в детали, Алексеев пишет: «Образ Сони Мармеладовой (...) восходит скорее к образу Анны в рассказе Де Квинси, чем к более поздним и менее сходным типам французской литературы» (речь идет о Фантине В. Гюго).³³ Мысль, осторожно высказанная Алексеевым, имеет под собой, исходя из текста «Исповеди...», достаточно оснований, чтобы быть включенной в комментарии к «Преступлению и наказанию». Можно с большой долей уверенности предположить, что история трогательной любви безмянного любителя опиума и проститутки Анны из повести Де Квинси является непосредственным литературным источником истории Сони Мармеладовой и Родиона Раскольников. Более того, есть основания для допущения, что концептуально образ Сони имеет определенную зависимость от образа Анны. «Я знал тогда одно создание, — повествует Де Квинси о своих скитаниях и о встреченной им на панели сироте, пятнадцатилетней лондонской проститутке, — (...) одну из несчастных, без всякого стыда, без всякой причины стыдиться. (...) Я не смешаю тебя, Анна, не смешаю с этим родом женщин! Другое, более приятное имя должно приискать для той, которой доброе сердце не забыло забытого всем миром! Тебе обязан я жизнью! (...) Однажды, ночью, шли мы по Оксфордской улице; вдруг мне сделалось дурно. (...) Севши, я почувствовал себя хуже, положил к ней на руки голову, и вдруг упал без памяти на землю. Я бы сей час же умер (от голода. — С. И.), если б моя подруга не избавила меня от гибели», купив еду на свои деньги. Позже, в крайней нищете, одинокий и измученный бесчисленными горестями, он тщетно пытается найти Анну, затерявшуюся в лондонских трущобах: «О юная благодетельница! как часто в одиноких моих прогулках хожу я, сложив на груди руки и вспоминая о тебе с сожалением, благословляю твою память! Как желал бы я, чтоб пламенные желания благодарного сердца могли лететь к тебе, сыскать тебя и усладить тебя моей любовью, моим почтением и благодарно-

также: Дьяконова Н. Я. Томас Де Квинси — повествователь, эссеист, критик (1785—1859). С. 351—352.

³³ Алексеев М. П. Достоевский и книга Де-Квинси: «Confession of an English Opium-Eater». С. 102. Не исключено, что это наблюдение М. П. Алексеева было в какой-то мере вдохновлено схожим высказыванием из известной ему анонимной статьи, упоминаемой ученым в другой связи. «На улице, между проститутками (...) была некая Анна, — некрасивая, пятнадцатилетняя девочка, что-то вроде Сони Мармеладовой» (Патологическая литература и больные писатели: Томас Де Кэнси // Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки. 1897. № 6. Т. 2. Декабрь. С. 318).

стью!».³⁴ Ш. Бодлер во второй части «Искусственного рая», посвященной «Исповеди...» Де Квинси и опубликованной в Париже в январе 1860 года, писал, комментируя эту сцену: «Чтобы достойно передать следующий эпизод, мне бы хотелось, образно говоря, одолжить перо у ангела — до того целомудренной, искренней, сердечной и сострадательной кажется мне эта картина».³⁵ Надо сказать, что для своего пересказа-анализа Бодлер, как и русский переводчик в свое время, использовал не подлинник, а все то же французское переложение Мюссе, о «соавторстве» которого с Де Квинси Бодлер также не знал. Не исключено, что Достоевскому была известна эта работа Бодлера.

В системе заимствованных из «Исповеди...» образов и мотивов, причудливо реализованных писателем в художественной структуре «Преступления и наказания», основным, исходным импульсом для Достоевского стал, возможно, парадоксальный сюжетный ход Де Квинси — высоконравственные отношения двух парий, проститутки и бродяги. В его беспорядочных наркотических фантазиях и снах образ тщетно разыскиваемой им возлюбленной Анны обрел библейское звучание. Ему представилось майское праздничное воскресное утро, повествует о таком видении Де Квинси, имея в виду, вероятно, пасхальное воскресенье, «вдали видны были легкие куполы и минареты многолюдного города... далее образ, заимствованный, вероятно, из картин Иерусалима; в двух шагах от меня, под пальмами Иудеи, сидела на камне женщина <...> это была... Анна! Она бросила на меня пронизательный взор... <...> она была прекраснее прежнего. Взгляд ее, выразительный и спокойный, блистал чем-то важным, торжественным. Я смотрел на нее с некоторым благоговением; но вдруг она сделалась печальною <...> все исчезло. Тьма воцарилась вместо света» (с. 144—145). И если образ Сони в концептуальной и художественной структуре «Преступления и наказания» имел, как предположил М. П. Алексеев, своим истоком образ Анны из «Исповеди...», то логически сцена евангельского чтения блудницы и убийцы, «странно сошедшихся за чтением вечной книги» (6, 251—252), с которого начинается нравственное воскресение Раскольников, и водительное начало Сони в этом процессе восходят, вероятно, к фантастическому видению пасхального Иерусалима и в нем ангелоподобной возлюбленной героя, бывшей падшей девушки, — эпизоду из Де Квинси.

³⁴ [Де Квинси Т.] Исповедь англичанина, употреблявшего опиум. Соч. Мэтьюрина, автора Мельмота. СПб., 1834. С. 31—33, 34—36. Далее ссылки на это издание приведены в тексте статьи с указанием страницы.

³⁵ Бодлер Ш. Искусственный рай // Бодлер Ш. Искусственный рай; Готье Т. Клуб любителей гашиша. М., 1997. С. 138 (пер. В. М. Осадченко). См. здесь же: «Заметки к лекциям, прочитанным Шарлем Бодлером в 1864 году в Брюсселе» (с. 190); Некролог Де Квинси, написанный Бодлером (с. 171).

Среди произведений Достоевского, испытавших влияние «Исповеди...», помимо «Бедных людей» и «Преступления и наказания», указанных М. П. Алексеевым, называлась, но никак в такой связи не анализировалась повесть «Хозяйка» (1847; см. 1, 509; коммент. Г. М. Фридендера).³⁶ Думаю, что к этому перечню следует добавить цикл фельетонов «Петербургская летопись» (1847), безусловно, «Белые ночи» (1848),³⁷ «Село Степанчиково» (1859), «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861), роман «Идиот» (1867). Мы вправе предположить, что образ мечтателя и его разработка у Достоевского находится в определенной зависимости от повести Де Квинси.

Обращение писателя к теме «мечтательства» и образу мечтателя неизбежно вводило его прозу в контекст западноевропейской и русской романтической традиции (Гофман, Жюль Жанен, Жерар де Нерваль, Жорж Санд, Н. В. Гоголь, А. Ф. Вельтман, А. Погорельский, В. Ф. Одоевский, Н. А. Полевой). «Мир грез, — писал В. В. Виноградов о Гоголе, — имел в романтической поэтике устойчивые формы своего художественного воплощения», когда «неожиданно стирались границы между бредовыми видениями и действительностью».³⁸ Мотив опиумных фантазий из «Исповеди...» нашел, как полагаю, своеобразную реализацию в разрешении характера мечтателя в творчестве Достоевского. По верному наблюдению А. Л. Бема, «в той или иной мере все герои ранних произведений Достоевского могут быть рассматриваемы как „мечтатели” и „фан-

³⁶ Проходное упоминание о связи «Хозяйки» с «Исповедью...» есть у М. П. Алексеева: «Увлечение Достоевского книгой Де Квинси кажется очень интересным <...> если принять во внимание его интерес к творчеству Гофмана и его склонность к изображению болезненных психических состояний: недаром уже в ранних произведениях он дает анализ сумасшествия («Двойник», 1846) или описание бредовых видений («Хозяйка», 1847)» (см.: Алексеев М. П. Ф. М. Достоевский и книга Де-Квинси «Confessions of an English Opium-Eater». С. 100. Следует заметить, что в анализах «Хозяйки» С. Родзевича и А. Л. Бема очевидная связь между образами мечтателя-безумца Ордынова и «любителя опиума» Де Квинси не отмечена. См.: Родзевич С. К истории русского романтизма: (Э. Т. Гофман и 30—40-е гг. в нашей литературе) // Русский филологический вестник. 1917. Т. 77. С. 231; Бем А. Л. Достоевский. Психологические этюды: Драматизация бреда («Хозяйка» Достоевского) (1928—1929) // Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 264—330.

³⁷ Мечтателя «Белых ночей», — говорится в комментариях к повести, — сближают с гоголевским Пискаревым «неудовлетворенность окружающей жизнью, стремление уйти в идеальный мир от убожества повседневности» (2, 486; коммент. Н. М. Перлиной).

³⁸ Виноградов В. В. О литературной циклизации... С. 47, 50.

тасты”, отъединившиеся от живого потока жизни». ³⁹ Но в видениях мечтателей Достоевского можно вскрыть не только литературные реминисценции из романтической литературы, но и объективацию психических переживаний и внутренних конфликтов самого Достоевского.

Де Квинси обращается к опиуму как к болеутоляющему средству из-за сильных, изматывающих его головных и желудочных болей, однако побочным действием опиума — и это его открытие — становится погружение в восторженное мечтательное состояние. «Я был всегда мечтателем, — говорится в «Исповеди...», — а бедствия (...) умножили мою склонность к меланхолии (...) но, приняв опиум, я часто погружался в задумчивость» (с. 72). «Действие опиума продолжало мечту, которая без того исчезла бы как тень, и даже, могу сказать, осуществляло ее (...) чтоб наполнить пустоту всей жизни невыразимо-сладкими мечтами» (с. 76—77). «Вам невольно захочется промечтать целую жизнь (...) слушая внутреннюю музыку души, от которой сердце приходит в сладкий трепет и хочет вырваться из груди» (с. 78—79).

Мечтатель «Белых ночей», оторванный от реального мира, описан Достоевским до встречи с Настенькой как человек, не желающий ужасных «минут отрезвления» от своего мечтательства, подобного сновидению, когда «целое царство мечтаний рушилось вокруг него (...) без шума и треска», но вот «воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним (...)». Новый сон — новое счастье! *Новый прием утонченного сладострастного яда!*» (2, 115; курсив мой. — С. И.). Теми же словами Достоевский описывает «мечтательство» как состояние, вызванное воздействием «яда», и в «Петербургской летописи»: «Минуты отрезвления ужасны; несчастный их не выносит и немедленно *принимает свой яд в новых, увеличенных дозах.* (...) *Яд готов,* и снова фантазия ярко, роскошно раскидывается по узорчатой и прихотливой канве тихого, таинственного мечтания» (18, 33; курсив мой. — С. И.). Позже, в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе», Достоевский писал о конце 1840-х годов как об эпохе беззаветных и страстных мечтаний, необходимых художнику: «И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моею в золотых и воспаленных грезах, *точно от опиума*» (19, 70; курсив мой. — С. И.). Мечтателя-фантаста Ордынова «пожирала страсть самая глубокая, самая ненасыти-

³⁹ Бем А. Л. Достоевский. Психоаналитические этюды. С. 327. О реализации Достоевским различных «уклонов» образа мечтателя в произведениях конца 1840-х годов писал К. В. Мочульский (см.: Мочульский К. В. Достоевский: Жизнь и творчество // Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 251—265).

мая (научные фантазии. — С. И.) <...> медленным, упоительным ядом отравляла ночной покой» (1, 265; курсив мой. — С. И.).⁴⁰ Сходство «мечтателя» Ордынова, а также героя «Белых ночей» с наркотическими видениями тонко подметил в свое время В. Л. Комарович: «Эту „жизнь фантазии, жизнь резкого отчуждения от всего окружающего” Достоевский любил сравнивать с опьянением наркотика».⁴¹

Однако если сладостные и болезненные грезы мечтателя Де Квинси вызваны воздействием опиума, то мечтатель Достоевского — это распространенный петербургский «тип», утонченная натура, «оригинал», одиноко живущий в «фантазиях» «своею особенною жизнью» (2, 114), придуманной взамен горестной и унижительной действительности. Достоевский описывает мечтателя как тип, возникший вследствие отторжения от всякой деятельности, в «Петербургской летописи»: «Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками <...> постепенно, неприметно начинает в нем притупляться талант действительной жизни. <...> И не трагедия такая жизнь! Не грех и не ужас!» (18, 33—34).

Для всех героев ранних произведений Достоевского, «мечтателей» и «фантастов», «отпавших от живого ствола жизни», характерно, как отметил А. Л. Бем, «то, что в глубине сознания они ощущают греховность этого отъединения»; преодолеть это обособление и выйти за пределы трагической замкнутости мечтательства, неизбежно влекущего героя к катастрофе «мистического ужаса» перед жизнью и в конечном счете к душевному заболеванию, возможно лишь через «приобщение к живому потоку жизни». Для самого автора «Хозяйки» и «Белых ночей» таким исходом из мечтательных медитаций молодости стало целительное свойство творчества.⁴²

Мечтательство — это не только «олицетворенный грех», но и творческий дар, высокий удел художника, способного на грани пророческого ясновидения создавать новые миры. Эта волшебная сила воплощения сродни «титаническому могуществу» куплена художником дорогой ценой духовного одиночества, отрыва от действительности. Мечтательство и сопутствующие ему фантазии, сны, видения — это путь художественного воображения к истине. Ордынов оживляет свои болезненные фантазии и как художник «создает» из

⁴⁰ По мнению А. Л. Бема, «Достоевский 40-х годов ярко выраженный тип „фантаста” и мечтателя. <...> Мечтательство Достоевского есть тот душевный фон, который им перенесен в психологию Ордынова, без которого не может быть понята и душевная болезнь его» (см.: Бем А. Л. Достоевский. Психологические этюды. С. 289).

⁴¹ Комарович В. Л. Юность Достоевского // Былое. 1924. № 23. С. 31.

⁴² См.: Бем А. Л. Достоевский. Психологические этюды. С. 326—329.

обыкновенного случая «дивную сказку» о красной девице, полоненной злым стариком-колдуном. «Сказка» Ордынова для Достоевского — это то, что не имеет ничего общего с действительностью, а не фольклорный жанр со всей его сюжетной атрибутикой, как это представлялось вслед за А. Л. Бемом многим исследователям: «сказка воплощалась перед ним в лица и формы. Он видел, как всё, начиная с детских, неясных грез его, все мысли и мечты его (...) всё одушевлялось, всё складывалось, воплощалось, вставало перед ним в колоссальных формах и образах (...) видел, как раскидывались перед ним волшебные, роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые города, как целые кладбища высылали ему своих мертвецов, которые начинали жить сызнова, как приходили, рождались и отживали в глазах его целые племена и народы, как воплощалась, наконец, теперь, вокруг болезненного одра его, каждая мысль его, каждая бесплотная греза, воплощалась почти в миг зарождения; как, наконец, он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он носился, подобно пылинке, во всем этом бесконечном, странном, невыходимом мире (...). Наконец, в припадке отчаяния, он напряг свои силы, вскрикнул и проснулся... (...)». Бред прошел, начиналась действительность» (1, 279—280). «Порывчатость сердца» мечтателя, не знающего действительности, «готова разорваться», так и не найдя «излияния» в «обновленной» жизни: в финале повести он впал «в злую, очерствелую ипохондрию (...) чувствовал страдания свои и просил исцеления у Бога» (1, 271, 318). Мечтатель «Белых ночей» — и это другая психологическая разновидность «мечтательства» — находит разрешение своему бесплодному фантазерству в любви к реальной девушке из «живой жизни», давшей ему «минуту» настоящего «блаженства и счастья» (2, 141), а также ощущение, что в «бесплотных фантазиях» он «даром потерял все свои лучшие годы» (2, 118). Не исключено, что эпизод пригрезившейся Мечтателю то ли во сне, то ли в «исступленных мечтаниях» любви к женщине, которую он позже встретит на балу, восходит к схожему эпизоду из «Исповеди...» Де Квинси—Мюссе, реализованному и у Гоголя: «...неужели не ее встретил он потом (...) в блеске бала, при громе музыки (...) где она, узнав его (...) бросилась в его объятия (...) прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения» (2, 117).⁴³ Это состояние «блаженства» Мечтателя — залог его «выздоровления» от «греха мечтательства» и обновления в будущем творчестве, что соотносится с писательской судьбой Достоевского в этот период.

⁴³ Следует заметить, что эпизод встречи героя и его возлюбленной в блеске бала, несомненно заимствованный Гоголем из Де Квинси и из того же источника, вероятно, Достоевским, имел место также и в повести о мечтателе А. Н. Пле-

Позже другие разновидности «мечтательства», так или иначе соотношенного с темой опиума, предстанут в «Селе Степанчикове» и «Идиоте». Татьяна Ивановна «во всю свою бедную жизнь испила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков (...) и впаала в самую неограниченную, беспредельную мечтательность (...). Богатства неслыханные, красота неувядаемая, женихи изящные, богатые, знатные (...) всё это начинало ей представляться не только во сне, но даже почти и наяву. Рассудок ее уже начинал слабеть и не выдерживать приемов этого опиума таинственных, непрерывных мечтаний...» (3, 120; курсив мой. — С. И.). В эпилептическом состоянии князя Мышкина, перед самым припадком, были мгновения, когда «ощущение жизни, самосознания почти удесятерилось (...). Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины»; эта минута ощущения давала «неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни (...) что это действительно „красота и молитва“, что это действительно „высший синтез жизни“, в этом он сомневаться не мог (...). *Ведь не видения же какие-нибудь снились ему в этот момент, как от хашиша, опиума или вина, унижающие рассудок и искажающие душу, ненормальные и несуществующие?* (...) пред припадком ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: „Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!“ (...) отупение, душевный мрак, идиотизм стояли пред ним ярким последствием этих „высочайших минут“» (8, 188; курсив мой. — С. И.).

* * *

Загадочные странствия ума «любителя опиума», сам театр сновидений, представленный в «Исповеди...», безусловно оказал влияние на Достоевского.

«Мечталось мне, — пишет Де Квинси, — будто я совершил преступление ужасное (...) будто в собрании народа, в погребальном

щева «Дружеские советы» (Отечественные записки. 1849. Т. 63. С. 61—126), «двойнике» «Белых ночей» (Отечественные записки. 1848. № 12. С. 357—400), которые, как известно, были посвящены Плещееву. Вероятно, сюжетное и психологическое сходство обеих повестей следует выводить не только из «дружеского сродства», «душевного созвучия» и «однородного настроения», как полагал Комарович (см.: *Комарович В. Л.* Юность Достоевского. С. 5, 29), но также из того, что «Исповедь...» Де Квинси могла быть общим литературным источником для обоих авторов.

торжестве, при свете дымных факелов <...> однозвучный голос палача протяжно читал мне смертный приговор и кончал всегда словами: „осужден быть повешенным и висеть, пока не умрет“; но, странная вещь, оставляли меня свободным на целый день» (с. 79—80). «Употребляющий опиум», достигнув «высшей степени вдохновения», «любит уединение», «толпа теснит его», «он ищет тишины, безмолвия, источника глубоких дум и размышлений высоких, усладительных», приняв опиум, он «часто погружался в задумчивость» (с. 72). «Какая-то симпатия рождалась между сном и бдением <...>. Все предметы, приходившие мне на мысль, тотчас превращались в видения <...> в виде призрака. <...> Иногда мне казалось, что я в одну ночь прожил шестьдесят или сто лет» (с. 125—127).

За историческими и архитектурными грезами (обширные готические залы, города и дворцы, вершины которых терялись в облаках) следовали «необъятные пространства воды», как бы «вымощенные бесчисленным множествам лиц, обращенных к небу», одни плакали, «другие были в отчаянии и ярости, поднимались тысячами, мириадами», душа его «воздымалась с волнами океана» (с. 132—135). В своих жутких видениях мечтатель Де Квинси видит античный Рим, эпоху Карла I, древнюю Азию времен Изиды и Осириса; живого, его зарывают «в глубину вечных пирамид», птицы, змеи и крокодилы терзают его; он видит в спальне преследующий его труп, процессию скелетов, держащих свои головы, и наконец, апокалиптическую битву, «в которой должна решиться участь всего человечества» (с. 152). Из всего этого Де Квинси делает заключение, «что *забыть* невозможно для человека», что сокрытые от совести и взоров «таинственные начертания души» (с. 128) извлекаются из небытия, когда сознание прорывается в «мир иной», чтобы постичь его и утраченное «состояние доброй, благородной души» «*допотопного*» человека, «когда еще горесть не терзала, не ожесточала ее» (с. 61).

Художник — это невольный мечтатель, чьи сны, фантазии, видения, чем бы они ни были вызваны, — это дорога в запредельный мир вымысла; именно воображение, мечтательство помогает проникнуть в недоступные сферы. Сны для Достоевского — это «второе зрение» (29₁, 282). В письме к брату от 27 августа 1849 года говорится, что у него в последнее время, «особенно к ночи, усиливается впечатлительность, по ночам длинные, безобразные сны, и сверх того, с недавнего времени, мне всё кажется, что подо мной колыхнется пол <...> нервы мои расстраиваются. Когда такое нервное время находило на меня прежде, то я пользовался им, чтоб писать, — всегда в таком состоянии напишешь лучше и больше, — но теперь воздерживаюсь, чтоб не доканать себя окончательно» (28₁, 159). «3-го дня был сильнейший припадок. Но вчера я все-таки писал в состоянии, похожем на сумасшествие» (28₂, 296). Л. П. Гроссман пронизательно заметил, что «описание действия опиума» у Де Квинси «напоминает

эпилептическую ауру»,⁴⁴ когда граница между фантазией и явью становится зыбкой; это — созидание мира в себе, «священное безумие» поэта. Обратным процессом является творческая реализация замысла, оживление фантазий, своеобразная «драматизация бреда» (термин А. Л. Бема, обозначающий прием Достоевского в «Хозяйке», когда происходит *«реализация явлений внутреннего мира вовне, как реально происходящих событий»*⁴⁵). Трагедия Катерины, как показал Бем, это реализованный бред Ордынова, это рассказ, созданный воображением мечтателя-фантаста; подтверждение тому — прозаическая концовка «Хозяйки», одного из самых фантастических произведений Достоевского. «Если „Хозяйка“, — пишет Бем, — есть в значительной мере реализованный вовне бред Ордынова, то содержание этого бреда, его материал, творчески переработанный и художественно оформленный, был не задан, а дан уже в душе его автора. (...) Достоевский переносил в свои произведения самый механизм своих душевных видений, придавая сновидениям и галлюцинациям черты реально протекающих событий. Он как бы эксплуатировал свою душевную болезнь в целях художественного творчества (...) „уход в творчество“ для душевных организаций типа Достоевского является спасением личности от душевного заболевания».⁴⁶ «Конечно, страшен диссонанс, — писал Достоевский брату в январе—феврале 1847 года, — страшно неравновесие, которое представляет нам общество. Вне должно быть уравновешено с внутренним. Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. (...) Начинаешь бояться жизни» (28₁, 137—138).

⁴⁴ Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 34.

⁴⁵ Бем А. Л. Достоевский. Психологические этюды. С. 270.

⁴⁶ Там же. С. 286—289.